

## ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ВНУТРЕННЕЙ (ДЕ)КОЛОНИЗАЦИИ РОССИИ

*Д. Уффельманн*  
*Университет Пассау (Германия)*

**Аннотация:** В статье анализируются научные дискуссии вокруг внутренней колонизации России. Автор разграничивает понятия «внутренняя колонизация», «внешняя колонизация», «самоколонизация» и проводит анализ перформативного характера речевых актов колонизации. По мнению автора, русская культура сформировалась во время всплеска внутреннего колониального насилия, что объясняет конфликт, лежащий в её основе: с одной стороны — стремление российских политических элит сделать основой культуры представления о России как о внутренне колонизированной стране; с другой — опровержение и оспаривание прав «завоевателей» в сочинениях российских писателей, публицистов, философов, художников, композиторов.

**Ключевые слова:** империя, внутренняя колонизация, колониальное управление, колониальный тип господства, история русской культуры, история России.

Право, если бы я был живописцем, вот бы я какую картину написал: образованный человек стоит перед мужиком и кланяется ему низко: вылечи, мол, меня, батюшка мужичок, я пропадаю от болести: а мужик в свою очередь низко кланяется образованному человеку: научи, мол, меня, батюшка барин, я пропадаю от темноты. Ну, и, разумеется, оба ни с места.

*И.С. Тургенев. «Дым»*

В этой статье мы ставим двойную задачу. Первая часть статьи посвящена своего рода «инвентаризации» научных дискуссий вокруг внутренней колонизации России. Во второй части мы займемся вопросом о том, какой вклад может внести в эти дискуссии литературоведение, располагающее необходимыми инструментами для анализа речевых актов, связанных с внутренней колонизацией. При этом будет намечено пять основных акцентов:

1) В первой части, где будут рассмотрены используемые в научных дискуссиях понятия, мы постараемся разграничить отдельные оттенки метафоры, которую являет собой понятие *внутренняя колонизация*.

2) За разграничением терминов *внешняя колонизация*, *внутренняя колонизация*, *самоколонизация* последует попытка построения ступенчатой модели этих отличающихся друг от друга стратегий.

3) Затем мы коснемся проблемы временных и пространственных границ применения понятия *внутренняя колонизация* в истории русской культуры.

4) Кроме того, мы проведем анализ перформативного характера речевых актов колонизации. Здесь мы постараемся обосновать предпочтение, отдаваемое нами терминам *внутренняя колонизация* или даже *внутренняя колониализация*, отличающимся от понятия «внутренний колониализм» (*internal colonialism*), которого придерживался Хечтер<sup>1</sup>.

5) В заключение мы предложим вариант метонимического описания внутренней колонизации в духе *перформативного поворота* (*performative turn*) и попытаемся продемонстрировать плодотворность подобного подхода на материале «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева.

## I

Большинство социологических макротеорий, таких как теория модернизации, дифференциации или цивилизационного процесса, являются телеологическими. Иначе говоря, эти теории рассматривают прошлое в категориях будущего, которое не могло быть известно деятелям прошлого. Они построены на аксиологическом понимании прогресса и смешивают нормативные суждения с дескриптивными. Исключением является *теория колонизации*. У Маркса, как и в историко-философских работах других авторов, колониализм (в случае Великобритании — по отношению к Индии) определяется как телеологически необходимый<sup>2</sup>, однако аспект подчинения и эксплуатации все же остается на переднем плане. Если Сергей Соловьев и другие русские историки XIX века используют понятие *колонизация* в духе апологетики якобы мирного заселения «пустующих» или недостаточно «цивилизованных» территорий, то в современных дискуссиях, прошедших через школу постколониальной теории, основное смысловое ударение ставится на гегемонии и насилии [Landow 2002].

Итак, преимущество понятия *колонизация* и его метафорического употребления — это отрицательный оттенок и способность привлечь внимание к аспекту насилия, присутствующему в культурных различиях и в процессах трансформации [ср.: Yew 2002; ср. также Эткин в: Липовецкий, Эткин 2008: 195].

В случае внутренней колонизации в России речь, как известно, идет не о колониализме в «классическом» смысле «подчинения заокеанских территорий» [Osterhammel 2006: 11] и даже не о «колонизации приграничных регионов» [Там же: 10], о которых Юрген Остерхаммель говорит применительно к расположенным в Азии российским территориям [Там же: 11]. Здесь мы не имеем дела с колонией как отдельным «вновь созданным политическим образованием» [Там же: 16], и суверенные права осуществляются не «под знаком преобладания *внешних* интересов» [Там же: 21; курсив наш. — Д.У.]. Однако это колониализм в том смысле, что

...принципиальные решения касательно жизни колонизируемых принимаются и проводятся в жизнь отличающимся от них с точки зрения культуры меньшинством колонизаторов, практически не желающих приспособливаться [Там же: 21]<sup>3</sup>.

Иногда речь идет о

<sup>1</sup>Отметим, что важные импульсы для уточнения и разграничения терминов были почерпнуты нами из дискуссий со Штефаном Родевальдом и с участниками совместного курса о внутренней колонизации России, который мы провели в Университете г. Пассау.

<sup>2</sup>«Англии предстоит выполнить в Индии двоякую миссию: разрушительную и созидательную — с одной стороны, разрушить старое азиатское общество, а с другой стороны, — заложить материальную основу западного общества в Азии» [Маркс, Энгельс 1948: 311].

<sup>3</sup>Здесь и далее, если иное не оговорено в выходных данных источника, указанного в списке литературы, перевод иноязычных цитат выполнен автором статьи.

...ситуациях, в которых зависимость «колониального» характера возникает не между «метрополией» и территориально удаленной от нее колонией, а между доминирующими «центрами» и зависимой «периферией» в рамках национальных государств или территориально единых империй [Там же: 22; курсив оригинала].

Примеров внешней колонизации заокеанских территорий в современной истории больше, чем каких-либо других. Возможно, еще и по этой причине теории внутренней колонизации начали возникать значительно позже, чем теории колонизации внешней: первый период их активного обсуждения пришелся на 60-70-е годы XX века (причем фокус тогда был направлен на Латинскую Америку [Gonzalez Casanova 2006], Великобританию [Hechter 1975] и эпоху сталинизма [Gouldner 1978]), второй — на 2000-е. По причине этого «запаздывания» научных дискуссий представление о «колониализме без колоний» [Osterhammel 2006: 22] приобретает оттенок исключительности. Сторонники сформировавшейся ранее «заокеанской» парадигмы колониальных исследований высказывают подозрения, что само понятие «внутренней колонизации» метафорично и основано на натяжке [Hind 1984: 561; Landow 2002].

Теории внутренней колонизации основываются на аналогиях. <...> Подобный подход обычно исключает традиционное понимание колонизации, которое исходит из географического разделения, а также такое ее понимание, которое отталкивается от предпосылки навязывания группой людей своей власти какой-либо экстерриториальной группе сообществ. Как правило, теории [внутренней колонизации] включают такие признаки обычного колониализма, как политическое подчинение, экономическая эксплуатация, культурное господство и расовый конфликт [Hind 1984: 552].

Насколько оправданны такие подозрения? Или наоборот: в какой мере существует «колониальная аналогия» [Hechter 1975: 33, прим. 1] между внешней и внутренней колонизацией?

Основное различие между ними заключается в том, что «при внутренней колонизации аналогом колониальной власти является элита, а не страна» [Calvert 2001: 54].

Противники подобной аналогии задают вопрос, не было ли бы более адекватным говорить о «внутренней периферизации» [Nolte 1991b: 9]. На это можно ответить: если понятие *колонизация* в качестве аналогии для описания внутренних процессов страдает якобы излишней широтой, то понятие *периферия* с полным правом можно упрекнуть в узости. При его использовании фокус смещается исключительно на региональный и экономический аспекты [ср.: Nolte 1991a: 1], в то время как теряются из виду социальная и культурная составляющие экспансии «центра» и его элит. Метафорическое употребление понятия *колонизация* может оказаться продуктивным для теории *культуры* именно в том случае, если мы не будем забывать о том, что перед нами метафора [ср.: Ruthner 2003: 119-122]; осознание метафорического характера понятий дает нам в руки действенное противоядие от объективизма самого разного толка. Так, например, рассуждения Поля Вирилио об эндоколонизации в нацистской Германии носят эксплицитно метафорический характер:

...эндоколонизация происходит в том случае, когда политическая власть обращается против собственного населения. <...> Тоталитарные общества колонизируют собственное население. Нацистскую Германию невозможно понять, не принимая во внимание того обстоятельства, что она была лишена колоний и начала программу колонизации у себя дома. <...> конечно, колонизация в Германии также следовала логике эндоколонизации: она подвергла свое собственное на-

селение той части, которой британцы — или французы — подвергли аборигенов в Австралии или чернокожих в Южной Африке, — иными словами, жестокому насилию [Virilio 2000: 50]<sup>4</sup>.

Сторонников тезиса о внутреннем колониализме нередко попрекали излишним «объективизмом» в понимании исторического развития, восходящим к марксистским пресуппозициям, хотя уже в 1970-е годы этот упрек — например, в адрес Хечтера — не выглядел обоснованным [Hind 1984: 552-553]. В 2000-е годы утвердилось мнение, что внутренний колониализм не связан с определенной политико-экономической системой и может проявляться за пределами территории, на которой господствует капитализм *европейского* типа [Calvert 2001: 53; первым, кто обосновал эту мысль задолго до наступления нового века, был Гоулднер — Gouldner 1977/1978: 41]. В своих работах, посвященных постколониальным исследованиям Габсбургской империи, Йоханнес Файхтингер [Feichtinger 2003: 18-19] использует понятия «внутренняя колонизация» и «самоколонизация» в том же ключе, в каком сегодня ведутся дискуссии вокруг этой темы применительно к России.

Свою ставшую хрестоматийной работу о британском внутреннем колониализме по отношению к Шотландии, Уэльсу и Ирландии Майкл Хечтер начинает с возражения против макротории, постулирующей постепенное распространение модернизации и индустриализации. Эту теорию он расценивает как излишне оптимистическую [Hechter 1975: 22-30]. Его взгляд направлен на усиление неравенства — сначала социального<sup>5</sup>, после — культурного<sup>6</sup> и в конце концов — этнического: «Эта система расслоения, которая может быть определена как культурное разделение труда, способствует формированию отличающейся друг от друга этнической идентификации в обеих группах» [Hechter 1975: 9]<sup>7</sup>.

В первых размышлениях о самоколонизации или внутренней колонизации, в XIX веке высказанных в отношении России такими авторами, как Август фон Гакстгаузен, Сергей Соловьев и Василий Ключевский, аналогия между внешней и внутренней колонизацией осознавалась куда менее явно, чем у авторов XX столетия.

Направляющая идея была задана Августом фон Гакстгаузеном. Рассуждая о заселении черноморского побережья немецкими колонистами, он пишет: «На внутреннюю колонизацию Российской империи должна быть направлена вся энергия правительства» [Haxthausen 1847: 332]. Здесь понятие «внутренняя колонизация» используется не как описание исторических фактов, а как указание на «правильную» будущую политику, то есть не как дескриптивное, а как явно нормативное.

Сергей Соловьев, говоря практически обо всей истории России в целом и придавая сказанному не меньший позитивный смысл, чем Гакстгаузен, представляет освоение географического пространства как не гегемониальный процесс. Соловьев интерпретирует это освоение не как результат столкновения завоевателей и аборигенов, а как заведомо мирную инфльтрацию населения из центра на окраины:

...здесь один народ, государство не было завоевано другим народом, государством в том смысле, в каком обыкновенно принимается в истории завоевание, одним словом, и там и здесь [на севере и в Сибири] преимущественно происходило население, колонизация страны (Соловьев 1959-1966, I-II: 62).

<sup>4</sup>У Вирилио это словосочетание используется в качестве метафоры того, что он называет «пересадкой революции» и «эндотехнологической евгеникой» [Virilio 2000: 50-51].

<sup>5</sup>«Волна модернизации, неравномерно прокатывающаяся по территории государства, порождает [более] продвинутые и менее продвинутые группы» [Hechter 1975: 9].

<sup>6</sup>«...модель внутренней колонизации утверждает, что политические столкновения большей частью отражают значительные культурные различия между группами» [Hechter 1975: 10].

<sup>7</sup>При всей перспективности трехступенчатой модели Хечтера с точки зрения теории, его тезис касательно Шотландии, Уэльса, Ирландии и «внутреннего колониального господства» Великобритании над этими территориями некоторые исследователи сегодня считают опровергнутым [Calvert 2001: 52].

Таким образом. Россия у Соловьева — это «страна колонизирующаяся», и колонизирующаяся полностью [Соловьев 1959-1966, III-IV: 648].

Во второй лекции «Курса русской истории» Василий Ключевский также провозглашает колонизацию «основным фактом нашей истории» [Ключевский 1987: I: 50-51]. В ретроспективе, рассматривая историческое развитие с точки зрения результата, он, в унисон с Соловьевым, пишет: «История России есть история страны, которая колонизируется» [Ключевский 1987: I: 50]<sup>8</sup>.

В какой мере оправдано рассматривать возвратную конструкцию, используемую Соловьевым и Ключевским, как термин? Может быть, перед нами всего лишь безличная форма, характерная для русского канцелярско-бюрократического языка, при которой субъект действия принципиально не называется? Или Соловьев и Ключевский черпают интеллектуальное наслаждение в парадоксе «самоподчинения»? То есть: осознают ли они свои слова («...которая колонизируется») как троп? В любом случае в возвратной конструкции «колонизируется» принципиально неразличимы насильственная колонизация, агентом которой выступают армия и бюрократия, и ненасильственная, агентом которой выступают «мирно» инфильтрующиеся крестьяне.

В исследованиях западных специалистов модель внутренней колонизации при обсуждении российской истории первоначально применялась прежде всего для объяснения сталинской коллективизации. Гоулднер, например, использует понятия теории колониализма в качестве метафора для описания внешней и социальной политики:

Была создана сосредоточенная в городах властная элита, которая заняла доминирующую позицию в обществе, где большинство было представлено сельским населением, по отношению к которому она была внешней колониальной властью; это был внутренний колониализм, мобилизовавший государственную власть против колониальных данников в сельских регионах [Gouldner 1977/1978: 13].

Развенчивая официальное марксистское разделение крестьян на бедняков и кулаков как «полный провал» (total failure) [Gouldner 1977/1978: 21], социолог касается также дискурсивных аспектов, которые Саид в том же самом году назовет ориентализмом: крестьян Гоулднер определяет как «советских индейцев» («peasants as the Soviets' Indians») [Gouldner 1977/1978: 41].

В книге Линн Виолы «Peasant Rebels» («Крестьяне-повстанцы») (1996) основное внимание тоже сосредоточено на «внутренней колонизации крестьянства» [Viola 1996: 44]. Как и Хечтер, Виола высказывает несогласие с унифицирующей моделью, которой в этом случае является представление о модернизационном скачке, якобы произошедшем в сталинскую эпоху [Viola 1996: 13]. Более точным она считает описать произошедшее тогда как «оккупацию народа»: «Это была борьба за власть и контроль, попытка подчинить и колонизовать тех, кто на протяжении советской истории все больше и больше стали напоминать оккупированный народ» [Viola 1996: 14]. Насилие, пишет Виола, было направлено не против «кулаков» как социальной группы, а было скорее «войной против всего крестьянства» [Viola 1996: 15], которое «...воспринималось прежде всего как экономический ресурс, <...> в сущности, как не более чем внутренняя колония» [Viola 1996: 20].

В качестве дискурсивного фона Виола приводит описания мужиков и баб как темных, некультурных и неблагородных в своей массе [Viola 1996: 32], которые можно охарактеризовать как их враждебную ориентализацию. В результате такой ориентализации в культуре был

---

<sup>8</sup>Идея внутренней колонизации в русской историографии рассмотрена наиболее подробно в недавней книге Эткина «Internal Colonization: Russia's Imperial Experience» [Etkind 2011: 13-71].

сформирован образ крестьян как «чужеродного элемента в своей собственной стране» [Viola 1996: 38].

В отличие от Соловьева и Ключевского, выбор Бориса Гройса в 1993 году пал не на возвратный глагол («колонируется»), а на абстрактное существительное *самоколонизация*<sup>9</sup>, которое позже — в английском варианте — было взято на вооружение Драганом Куянджичем [Kujundzic 2000: 894] и Нэнси Конди [Condee 2009: 30].

В серии работ, опубликованных с 1998 по 2003 год, Александр Эткинд предпринял попытку систематизации понятия «внутренняя колонизация», выявляя ее отличия от колонизации, ведущейся далеко от границ метрополии — обычно за океаном [2002: 275-276, прим. 13]. В отличие от Хечтера, который переходит от культуры к этносу, Эткинд подчеркивает, что «...культурная дистанция между метрополией и колонией не всегда совпадает с этнической дистанцией между ними» [Эткинд 2001: 60]. Колонизирующая элита и колонизируемый народ могут, как констатирует Эткинд, принадлежать к одной и той же этнической группе. Необходимым условием, оправдывающим использование понятия *внутренняя колонизация*, он считает наличие культурной дистанции: «Нет культурной дистанции — нет колониальной ситуации» [Эткинд 2003: 111]. Говоря о «колониальной ситуации» [ср.: Balandier 1951], Эткинд предлагает терминологический знаменатель, под который можно подвести как внешнюю, так и внутреннюю колонизацию.

Эткинд не забывает об истории понятия «колониализм» и учитывает отличия, существующие в его применении к заокеанским территориям. Важно, что у него появляется критерий, с которым могут работать представители гуманитарных наук: ситуация культурной дистанции [2001: 61]. Если таковая имеет место, то, следуя Эткинду, о внутренней колонизации можно говорить в неметафорическом смысле.

Тезисы Александра Эткинда вызвали полемику, в которой использовались не только содержательные аргументы, но и этические и аксиологические оценки. Оценочная составляющая оказалась наиболее заметной в научных дискуссиях, идущих в Украине и в России, — с 2007 года она, кажется, начинает усиливаться. Впрочем, Сузи Франк еще в 2003 году писала, что в концепции внутренней колонизации Эткинда кроется опасность осознанного или неосознанного продолжения имперских тенденций: «...своей концепцией „внутренней колонизации“ он — осознанно или неосознанно — повторяет... имперский подход» [Frank 2003: 1670]. Более агрессивные ноты звучат в отзыве Виталия Чернецкого, опубликованном в 2007 году:

Парадоксальным образом <...> в своей аргументации касательно *внутренней* колонизации России <...> Эткинд ссылается на события и явления, которые происходили и имели место на украинской и белорусской территориях. Тем самым Эткинд воспроизводит элементы российской колониальной идеологии, которую он, видимо, усвоил настолько, что перестал их замечать [Chernetsky 2007: 43; курсив оригинала].

В отличие от Чернецкого, который последовательно придерживается идеи исключительно внешнего характера российского колониализма, в употреблении термина «внутренний колониализм» по отношению к неоколониальной эксплуатации некоторых территорий Российской Федерации у Бориса Родомана [Родоман 1996] и Марианны Фадеичевой [Фадеичева 2007] явственно звучит внутрirosсийская антиколониальная полемика: «Необходимо преодолеть внутренний колониализм», «необходима деколонизация», — пишет Фадеичева [2007: 54]. У нее наблюдается возвращение к нормативно-аксиологическому пониманию термина, преобладавшему у Гакстгаузена, однако с явно негативным оттенком.

<sup>9</sup>«Петровские реформы представляют собой своего рода уникальный акт самоколонизации русского народа <...> Санкт-Петербург и петербургская государственность являются символами этой самоколонизации...» [Гройс 1993: 358].

## II

Более необходимой, чем оценка аксиологических предпосылок постколониальных исследований по российской истории, нам представляется герменевтика различения, которой до сих пор практически не уделялось внимания. При этом мы не имеем в виду затихающую и вновь оживающую дискуссию вокруг различий и метафорической дистанции между внутренней и внешней колонизацией, а четкое разграничение терминов, связанных с внутренними процессами.

В идущих сегодня дискуссиях сравнительно ясно просматривается терминологическое различие внутреннего ориентализма и внутренней колонизации. В контексте обсуждения внутреннего ориентализма почти обязательно упоминается вошедшая в современный академический канон работа Эдварда Саида [1978]. У Виолы, которая пишет о дискурсивной инфантилизации крестьян, ссылки на Саида еще нет [Viola 1996: 32], в то время как в своем описании обращения с крестьянами Янни Коцонис уже использует введенное Саидом понятие «othering» (конструирование инаковости) [Kotsonis 1999: 3]. Эткинд, в свою очередь, констатирует, что «русский ориентализм был направлен не в заморские колонии, а внутрь собственного народа» [Эткинд 2001: 72], и тоже ссылается на Саида.

Внутренний ориентализм следует анализировать при помощи инструментов, которые сродни саидовскому анализу колониального дискурса, в то время как в случае колонизации первенство должно отдаваться собственно историческим методам и подходам. «Ориентализация собственной культуры» у Эткинда [2001: 68] с ее грамматическим значением действия приходится как раз на смысловой зазор между *ориентализмом* и *колонизацией*, что демонстрирует, что различие ориентализма и колонизации основано только на некоторой разнице акцентов.

Значительно менее четко различаются в употреблении термины «самоколонизация» и «внутренняя колонизация». Возвратный глагол «колонизоваться» у Соловьева и Ключевского в этом плане остается открытым. Эткинд выстраивает целый синонимический ряд: «внутренняя колонизация, самоколонизация, вторичная колонизация» [2001: 65], а Йон Кюст использует совмещенный термин «внутренняя самоколонизация» (internal self-colonization) [Kyst 2003: 30].

Ответ на вопрос об адекватности кроется не в самом отглагольном существительном с приставкой «само-», а в его сопряжении с грамматическим и историческим субъектом. У Гройса и Куянджича субъект самоколонизации — коллективный: это народ в эпоху петровских реформ («самоколонизация русского народа» [Гройс 1993: 358]) или «идентичность России, непрерывная мазохистская <...> самоколонизация» [Kujundzic 2000: 898]. Отсылка к неопределенным коллективным субъектам (или тем более к неverifiedируемым «особенностям национального характера»<sup>10</sup>) вводит в заблуждение. Возможно, что через самоколонизацию прошли Петр I или Феофан Прокопович, но никак не сам «народ» и тем более не в эпоху петровских реформ. «Народ» можно описать как объект внутренней колонизации, но ни в коем случае не как субъект самоколонизации. Эффект внутренней колонизации в результате петровских реформ несомненно взаимосвязан с собственной, личной самоколонизацией царя. Однако эти процессы были направлены на различные объекты: самоколонизация возвратна, рефлексивна, в то время как внутренняя колонизация носит переходный, транзитивный характер.

То же самое можно сказать о самоориентализации и внутреннем ориентализме. Когда Блок или евразийцы в своих текстах отказываются считать себя частью «западной» культуры

<sup>10</sup>Формулировка Куянджича столь отрицательна («самоунижение, самоистребление» [Kujundzic 2000: 898]), что оказывается в опасной близости к одиозному тезису Ранкура-Лаферрье о «мазохизме как национальной черте русского народа» [Rancour-Laferriere 1995].

(лозунг «исхода к Востоку») или когда Владимир Жириновский всеми силами старается соответствовать стереотипу «варвара», это рефлексивное поведение можно назвать самоориентализацией [см. об этом механизме: Khalid 2000; Кобрин 2008; Uffelmann 2009]<sup>11</sup>. Однако самоориентализация крайне редко относится к единичному субъекту: чаще всего широким жестом в нее включаются и другие представители собственной — в данном случае российской — культуры. Однако совсем иной процесс начинается, когда «мы» с сознанием успешной самоколонизации, превратившей «нас» из «восточного человека» в «европейца» [см.: Kissel 1999], проводим разделительную линию между собой и основной массой нашего народа, который «мы», как нам кажется, оставили далеко за собой.

Как уже было сказано выше, разные аспекты самоколонизации и внутренней колонизации, самоориентализации и внутреннего ориентализма взаимосвязаны, и дизъюнктивной четкости границ здесь — как это обычно и бывает в гуманитарных науках — не добиться. Тем не менее ее можно достигнуть, если принять в рассмотрение внешнюю колонизаторскую деятельность самой России или внешний «ориенталистский» дискурс Запада о России: оба явления имеют обратное влияние на самоориентализацию, внутренний ориентализм, самоколонизацию и внутреннюю колонизацию. Сузи Франк, например, призывает учитывать «симптоматичный для данной амбивалентности процесс внутреннего отражения в России ориентализирующего ее западноевропейского взгляда извне» [Frank 2003: 1667].

На более общем уровне о взаимосвязи между внутренней и внешней колониальной политикой напоминает Калверт: «Как внешняя колонизация была ответом на, казалось бы, исчерпавшие себя возможности внутренней колонизации, так и наоборот...» [Calvert 2001: 60]. То есть без внешнего ориентализма не должно было бы быть ни самоориентализации, ни самоколонизации, а внешняя колонизация в смысле заселения новых территорий должна предшествовать внутренней, — иначе будет не хватать пространства, которое можно моделировать как отсталое и расположенное внутри<sup>12</sup>.

Принимая во внимание смешение акцентов, которые — мы еще раз подчеркиваем — при должных усилиях вполне поддаются разграничению, мы хотели бы предложить поэтапную модель динамики развития, протекающего в направлении «снаружи вовнутрь» [Эткинд 2001: 64]. Итак, внешняя ориентализация (ВнеОр) культуры может вызвать у отдельных ее представителей реакцию субверсивно-ироничной самоориентализации как бы нарочно, назло внешней (СамОр) или послужить толчком к самоколонизации (СамКол). В последнем случае практически неизбежно происходит отмежевание<sup>13</sup> от собственной культуры и возникает внутренний ориентализм (ВнуОр) по отношению к «другим» внутри этой культуры. Этот внутренний ориентализм может оставаться на отрицательной дистанции или же принять дистанцированно-реформаторскую, то есть колонизаторскую позицию по отношению к «достойным сожаления другим», что в результате выльется во внутреннюю колонизацию (ВнуКол). Сказанное можно представить в виде следующей схемы:

**ВнеОр → СамОр → СамКол → ВнуОр → ВнуКол**

Подобную идеально-типическую схему в чистом виде мы представляем *cum grano salis*; к моделированию социальных процессов в духе структурализма всегда следует подходить с должной долей скепсиса. Тем не менее мы уверены, что такие схемы могут принести

<sup>11</sup>Сузи Франк констатирует наличие определенной формы самоориентализации также и у российских западников [Frank 2003: 1666].

<sup>12</sup>См. подробнее в предисловии к этой книге о принципе «колониального бумеранга», описанного Ханной Арендт, а после нее Эме Сезером и некоторыми другими.

<sup>13</sup>Ср. у Конди: «Заметив свое собственное отличие от западного человека, но потом перенеся категорию отличия с себя на бородатого человека, этот сам недавно европеизированный человек <...> сделал бородатого человека по-новому доступным для понимания» [Condee 2009: 34].

эвристическую пользу, которая заключается в их деконструкции: именно ей мы и намереваемся заняться во второй части настоящей статьи.

Если верно, что всем дальнейшим этапам должен предшествовать внешний ориентализм, то самоколонизацию и внутреннюю колонизацию следует мыслить как реакцию на него, то есть как нечто вторичное — не случайно Эткинд очень верно пишет о «вторичной колонизации» [2001: 64], а Конди — о «феномене вторичного порядка» [Condee 2009: 32]. Различные теории заговора как, например, советские пропагандистские «страшилки» о подрывной деятельности и диверсиях, в принципе вполне точно демонстрировали опосредованное целым рядом этапов генетическое происхождение внутренней колонизации от внешнего ориентализма. Они просто выразили эту связь через неверное, конспирологическое по сути отождествление: «В ситуациях кризиса внутренняя колонизация репрезентируется как внешняя», — говорит Александр Эткинд в беседе с Марком Липовецким [Липовецкий, Эткинд 2008: 204].

То, что происходит в процессе намеренной самоориентализации, а также в контексте внутреннего ориентализма и внутренней колонизации, не остается незамеченным и за границей. Если внешние наблюдатели придерживаются модели распространения модернизации по всему миру, то самоколонизация и внутренняя колонизация могут рассматриваться ими как шаги в верном направлении. Именно так построен, например, механизм оценок экономических трансформаций экспертами Международного валютного фонда. Самоориентализация же, как и внутренний ориентализм, может подтверждать бытующие предрассудки — во всяком случае тогда, когда при внешнем восприятии теряется присутствующая в самоориентализации ирония. Поэтому мы в принципе согласны с Эткиндом, который пишет:

Самореференциальность внутренней колонизации придавала ей характерную непоследовательность, запуганность, незавершенность, которую западные наблюдатели по-ориенталистски объясняли национальными особенностями, культурой и характером [Эткинд 2003: 109-110].

Негативное внешнее восприятие вызывает не столько внутренняя колонизация, сколько скорее самоориентализация и внутренний ориентализм.

Как бы то ни было, круг замыкается:

**ВнеОр → СамОр → СамКол → ВнуОр → ВнуКол → ВнеОр...**

В какой степени цикл действительно замкнут? Должен ли он неизбежно начинаться все снова и снова — до бесконечности?

### III

Таким образом, мы подошли к вопросу о временных границах и циклическом характере исторического процесса внутренней колонизации.

Относительно временных рамок внутренней колонизации России в исследовательской литературе преобладает не слишком четко сформулированное мнение о ее незавершенности. Ключевский прослеживает этот процесс, начало которого он видит в VIII веке [1987: I: 51-53], на протяжении всей истории России, вплоть до современной ему эпохи [Ключевский 1987: I: 50]. Куюнджич рискует употребить наречие, которому трудно найти фактическое подтверждение: «После вступления в историю благодаря петровской модернизации Россия *всегда* остается колонизованной» [Kujundzic 2000: 897; курсив наш. — Д. У.].

Эткинд предпочитает оставить вопрос о продолжительности внутренней колонизации открытым, за исключением тезиса о том, что сталинская коллективизация сельского хозяйства послужила началом нового цикла [Эткинд 2001: 73]. Таким образом, перед нами возникает

фигура повторения, вызывающая в памяти гегелевскую дурную бесконечность: «...внутренняя колонизация оказывается циклически повторяющимся, трудно завершимым процессом» [Эткинд 2001: 72]<sup>14</sup>.

Вооружившись риторикой незавершимости, все исследователи до сих пор могли, как нам кажется, противостоять соблазну точной датировки. Наметить как начальную точку какое-либо явное событие разрыва — например, возвращение Петра I из Великого посольства в августе 1698 года — было бы действительно рискованно. Поскольку в качестве культурного отличительного признака Эткинд принимает бороды, то их прилюдное обривание в следующий после возвращения день теоретически могло бы послужить такой «цезурой» [2002: 288]. Однако вспомним, что одним из самых часто и охотно деконструируемых мифов западного ориентализма о России является именно определение Петровской эпохи как начала поворота России лицом к Западу [ср., например: Waegemans 1993].

Сталинская коллективизация уже с 1970-х годов — например, у Гоулднера — описывалась и описывается как форма колониального насилия над крестьянами. В качестве конечной точки этой формы внутреннего колониализма можно было бы принять начало Большого (уже не целенаправленного, а тотального) террора в марте 1937 года<sup>15</sup>, если бы за ним не последовали меры, под которые — так или иначе — вновь была подведена культурная подоплека: депортация немцев Поволжья в 1941 и народов Крыма, Северного Кавказа и калмыков в 1944 году, «раскулачивание» на территориях, присоединенных к СССР перед самой войной, — Балтии и правобережной Молдавии, — начавшееся во второй половине 1940-х, и репрессивная кампания против «безродных космополитов» в конце того же десятилетия. И все же, несмотря на эти оговорки, мы считаем оправданным говорить о всплеске внутреннего колониального насилия, который пришелся на два с половиной столетия, лежащие между концом XVII и серединой XX века.

Неоспоримо, что отдельные проявления внутренней ориентализации и стратегии колониальной эксплуатации (например, в Восточной Сибири) могут быть зафиксированы и за пределами этого периода — если не до 1698, то, во всяком случае, после 1953 года<sup>16</sup>. «Внутренне-колониальный треугольник», который Эткинд в 2003 году разработал на материале литературы XIX века, Марк Липовецкий применяет к фильмам 2000-х [Липовецкий 2003; 2008: 708, 749]. Тем не менее открытым остается вопрос: могут ли отдельные проявления ориентализма считаться доказательствами наличия общего исторического процесса внутренней колонизации? Мы склонны отвечать на этот вопрос отрицательно.

Для более точного уяснения связи между «внутренней ориентализацией» и внутренней колонизацией необходимо ответить на ряд вопросов. В какой момент начатая элитой в центре реформа переходит в колонизацию, сопровождающуюся формированием культурной дистанции? Допустимо ли описывать любой вид «стратификации» как колониальное насилие [Hechter 1975: 33]? Например, экономические реформы 1990-х, которые Марк Липовецкий назвал «либеральной колонизацией» [см.: Липовецкий, Эткинд 2008: 196], хотя в них менее явно заметен решающий для нашего подхода аспект культурной дистанции? С формулой Липовецкого, которая гласит, что «*модернизация приобретает циклический и монструозный характер в тот момент, когда ее поглощает внутренняя канонизация*» [Липовецкий, Эткинд 2008: 197; курсив оригинала], теоретически можно согласиться. Но когда именно происходит такой переход?

<sup>14</sup>Кажется, первым о циклическом характере внутренней колонизации заговорил Владимир Паперный в книге «Культура Два» (работа над рукописью — 1975-1979).

<sup>15</sup>См., например: Лейбович 2009.

<sup>16</sup>См. об этом статьи Д. Хили и И. Кукулина в сборнике: Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. статей / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельмана, И. Кукулина. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

Еще более скользким с политической точки зрения является вопрос о пространственном охвате. У Эткинда мы находим уже получившую большую известность формулировку, указывающую на вектор внутренней колонизации:

Главные пути российской колонизации были направлены не вовне, но внутрь метрополии: не в Польшу и даже не в Башкирию, но в тульские, поморские, оренбургские деревни [Эткинд 2001: 65].

Сандерленд подтверждает это высказывание, ссылаясь на эмпирические данные [Sunderland 2004: 141]. При всех возможных расхождениях при описании внутренней колонизации временное и пространственное измерения явно с необходимостью коррелируют между собой. В то время как в начале царствования Петра I борьба за доступ к Балтийскому морю является составляющей внешней колонизации, позднее Петербург становится центром власти, хотя и расположенным на географической периферии. Внешние территории постепенно переходят в ведение внутренней политики — так, о XIX веке Эткинд пишет: «Колонизация Поволжья, Урала, Сибири осталась в прошлом и давно была делом внутренней политики» [Эткинд 2001: 62]<sup>17</sup>. Сахалин был описан русскими мореплавателями только в начале XIX века и провозглашен российским владением в 1806 году, но в конце того же столетия его освоение уже приобретает явные черты внутренней колонизации, о чем свидетельствуют описания в книге А.П. Чехова «Остров Сахалин». Ключевский в свое время писал о России, что «область колонизации в ней расширялась вместе с государственной... территорией» [Ключевский 1987: I: 50].

Высказывание Эткинда о том, что внешнюю колонизацию Средней Азии, Кавказа или Аляски с исторической точки зрения следует рассматривать как проигранную [Эткинд 2003: 277], демонстрирует, что происходили не только экспансия и присвоение, но и уменьшение и утрата территорий. При анализе потерь приобретенных однажды земель возникает еще один вопрос: не является ли постепенное «овнутрение» присоединенных к России территорий, как это описано у Эткинда, следствием «традиционного», внешнего колониализма? Упреки в том, что внешние колонии перестают восприниматься как таковые просто из-за того, что Россия ими успешно управляла, несомненно, оправданны применительно к имперской и советской власти. Но относятся ли эти претензии к исторической теории, утверждающей, что в России существовал *не только* внешний, *но и* внутренний колониализм?

Исторические исследования не смогут защитить себя от обвинений в неявной апологетике описываемых явлений, если они будут ссылаться только на общетеоретическую «нестабильность границ» [Эткинд 2003: 110]. Теоретики должны твердо уяснить для себя необходимость описания граней между внутренним и внешним, которые существовали именно в тот исторический момент, за анализ которого они берутся. Или наоборот: они должны привыкнуть описывать размывание границ как стратегию и составляющий элемент дискурсивной власти.

При такой постановке вопроса те особенности концепции внутренней колонизации, которые на первый взгляд могут показаться ее слабой стороной, оказываются положительным фактором, требующим более вдумчивого анализа. Искусственное разделение внешней и внутренней политики теперь может быть поставлено под сомнение:

Аналитическая ценность идеи внутреннего колониализма заключается в том, что она является шагом в направлении снятия радикального различия, которое обычно делают между так называемыми международными отношениями и внутренними социальными отношениями,

<sup>17</sup>Подробнее см. в статьях М. Ходарковского и Ш. Родевальда в сборнике: Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. статей / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельмана, И. Кукулина. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

взаимоотношениями государств и взаимоотношениями классов [Gouldner 1977/1978: 14, прим. 23].

Нестабильность границ между внешней и внутренней колонизацией исключает возможность унифицирующих подходов, практикуемых как апологетами колонизации, считающими, что Россия мирным путем принесла «инородцам» цивилизацию, так и радикальными критиками исторической России, которые убеждены, что русские всегда подвергали насилию только других.

Полезным может оказаться здесь также и определение промежуточного уровня, который уже применяется в исследованиях Габсбургской монархии: в них описывается существовавший в ней «*микрoколониализм и внутренний колониализм*» [Simonek 2003: 131; курсив оригинала], который выражался, например, в наличии разницы в уровне гегемонии между Австрией и южной Польшей, с одной стороны, и между южной Польшей и западной Украиной, с другой, или между Австрией и Венгрией, с одной стороны, и Венгрией и Словакией (называемой тогда «верхней Венгрией»), с другой. Очевидно, применительно к империи Габсбургов можно говорить о «более доминирующих», «менее доминирующих» и «подчиненных» (западная Украина, Словакия) территориях.

Можно предположить, что города русской провинции имели похожую функцию «шарниров», подобно Венгрии и южной Польше, занимавшим «промежуточный» властный уровень в Австро-Венгерской империи. Кроме того, как подчеркивает Сузи Франк, внутренний ориентализм в России не может быть до конца понят без осмысления внутренней границы между европейской и азиатской частями ее территории [Frank 2003: 1671]<sup>18</sup>.

#### IV

В своей терминологической герменевтике мы до сих пор черпали аргументы из реальной истории или из истории дискурсов. Но каким образом мы можем извлечь пользу именно из литературоведческих подходов, чтобы лучше разобраться в процессах, связанных с внутренней колонизацией? Во-первых, как считает Эткинд, внутрикoлониальные «метанарративы» [Эткинд 2003: 115] можно найти в художественной литературе. Во-вторых, — таков наш тезис — следует учитывать перформативный эффект внутреннего ориентализма. Поэтому мы зададим еще один терминологический вопрос, который до сих пор оставался без внимания, а именно: следует ли нам говорить о *колонизации* или о *колониализме*?

Дискуссии современных историков о расселении немцев в Восточной Европе, которое сегодня предпочитают называть расширением территорий (Landesausbau) [ср.: Zernack 1991; Wippermann 2007: 53], показывают, что дискурсивные феномены, сопровождающие внутреннюю колонизацию, не могут быть в достаточной мере поняты и проанализированы — во всяком случае с точки зрения культурной истории, — если их рассмотрение будет ограничиваться только процессами колонизационного заселения как таковыми<sup>19</sup>.

В свое время Сергей Соловьев еще противопоставлял друг другу колонизацию как заселение территорий и их насильственное завоевание. Владимир Ленин, назвав одну из глав своего «Развития капитализма в России» (1896-1899) «Значение внутренней колонизации» [Ленин 1946: 493], тоже сосредоточил свой взгляд именно на этом аспекте. Его интересует вектор колонизации, направленный из индустриализованных регионов центральной России в юго-восточные степи, то есть «развитие капитализма <...> вширь» [Ленин 1946: 494]. Это явление он рассматривает как «затемнение процесса индустриализации населения» [Ленин 1946: 190], а не как колонизаторское завоевание сельскохозяйственных территорий. О наблю-

<sup>18</sup>См. об этом также статью Т. Артемьевой в этом номере журнала «Политическая концептология».

<sup>19</sup>В таком ключе Хетчер рассматривает расширение французских территорий в XII веке [1975: 32-33, прим. 2].

дении Ленина, с нашей точки зрения, можно сказать то же самое, что о Нольте и его понятии «внутренней периферизации» [Nolte 1991a; Nolte 1991b]: их подходы делают слишком однозначный упор на макроэкономику и экономическую географию.

Хечтер подчеркивает, что в его концепции «внутреннего колониализма» речь как раз идет не о расширении территории и не о «заселении ранее незанятых областей внутри государственных границ» [Hechter 1975: 32, прим. 2]. Задаваясь вопросом о культурной составляющей внутренней колонизации России, и мы не должны ставить во главу угла аспект территориального прироста, хотя обустройство немецких поселенцев в Поволжье и на юге России имело оттенок колониализма по отношению к местному населению [Klaus 1887: 2, 5].

В таком случае, если мы говорим о внутрироссийской экономической экспансии, можем ли мы, следуя Хечтеру, использовать термин «внутренний колониализм» (internal colonialism)? Анатолий Ремнев уже принял его на вооружение:

Теории «внутренней колонизации» империи нередко противостоит более политически жесткая концепция «внутреннего колониализма», у которой, видимо, есть если не научное, то политическое будущее [Ремнев 2010: 151].

Оставляя за скобками возможность политической инструментализации, можно сказать, что суффикс «-изм», присутствующий в этом понятии, описывает системный характер экономической эксплуатации и искусственно созданных культурных различий. Внутреннему ориентализму как системе знания в духе Фуко и Саида такой аспект наверняка окажется полезен [ср.: Эткин 2001: 50-57, 2002: 265-270, 2003: 108].

Недостаток суффикса «-изм» заключается в том, что он отгесняет на второй план присущий колонизации характер исторического процесса, а также перформативность «ориентирующих» речевых актов. Если же смотреть с точки зрения так называемого *перформативного поворота* (performative turn) в гуманитарных науках [Fischer-Lichte 2004: 36], то предпочтение следовало бы отдать не системному понятию *колониализм*, а описывающему действие сущностительному *колонизация*.

Таким образом, перед нами стоит задача взвесить различные «за» и «против», чтобы в результате оптимизировать используемые термины. Система или перформативность? И третьего не дано?

А может быть, все-таки дано?

Может быть, следуя Хабермасу, стоит говорить о «внутренней колониализации» [Habermas 1995: 523; курсив наш. — Д.У.; впрочем, в нашем случае речь не идет о повседневной жизни (Lebenswelt)]? Пойдя по этому пути, мы привили бы процессуальному понятию «колонизация» аспект системного культурного дистанцирования и экономической эксплуатации, который несут в себе понятия «колониализм» и «колониальная власть»<sup>20</sup>. Возможно, конечно, что нашей «колониализации» не позволит прижиться реакция лингвистического отторжения; наш полунеологизм может оказаться актом внешней колониализации — не России, но русского языка.

Тем не менее понятие «колониализации» могло бы заострить внимание на системной перформативности и замкнутости колониационного дискурса и тем самым подсказать ответ на вопрос, почему деколонизация (и в политическом плане, и на уровне сознания) дается с таким трудом.

Перформативный характер внутреннего ориентализма ведет, с одной стороны, к тому, что антиколониальные дискурсы все еще продолжают нести в себе колониальный «вирус». Так, Эткин обращает внимание на аффирмативность, присутствующую даже в ироническом

<sup>20</sup>Поиск в Google на русском языке, произведенный 12 марта 2010 года, выдал 593 результата по понятию «колониализация» и 2 510 000 — по понятию «колонизация».

дистанцировании от имперской политики, то есть в антиколониальном по своей сути отношении поэтов:

Русские поэты с их пограничной географией, неоднозначным чувством принадлежности и смешанным этническим происхождением деконструировали образ мышления ориентализма, воспроизводя его в своей иронической практике [Etkind 2007: 625]<sup>21</sup>.

Настроенная на деколонизацию элита также воспроизводит колониальную дистанцию, используя определенный словарный запас и сохраняя определенную рутину коммуникации. Позитивный ориентализм<sup>22</sup> Радищева, славянофилов, Толстого, народников и авторов сборника «Вехи», произрастающий на почве исключительно добрых побуждений, тоже основан на установленной внутренним колониализмом культурной дистанции. Более того, романтизация внутреннего объекта колонизации, то есть «народа», нацеленная как раз на деколонизацию, сохраняет эту дистанцию. Предложенную нами выше схему можно продолжить следующим образом: за внутренней колонизацией (ВнуКол) следует внутренняя романтизация (ВнуРом), а затем парадоксальная внутренняя деколонизация, которая одновременно является и колонизацией (ВнуДекол/ВнуКол):

**ВнеОр → СамОр → СамКол → ВнуОр → ВнуКол → ВнуРом → ВнуДекол/ВнуКол**

Однако следует ответить на вопрос о том, что происходит в конкретных речевых актах с деколонизационной интенцией. Эту задачу могло бы взять на себя литературоведение, а термин Остина *infelicities* (неудачи), который был предложен им в лекциях под общим заглавием «How to Do Things with Words» [«Как производить действия с помощью слов»; Остин 1986] применительно к перформативным речевым актам, может оказаться продуктивным при выполнении этой задачи. Мы считаем, что неудачи попыток коммуникативного преодоления разрыва, созданного внутренней колонизацией, являются самыми красноречивыми доказательствами того, что таковая действительно происходила. Дискурс нарочитой деколонизации, который сам снова приобретает колонизирующий характер, всегда уже является постколониальным [ср.: Эткин 1998: 59-60].

Поэтому, рассматривая теорию речевых актов Остина, основной интерес следует направить на безуспешные попытки, которые уже оказывались в центре внимания семиотики [Fischer-Lichte 2004: 33], на *неудачи* [Остин 1986: 31], то есть неудавшиеся перформативные речевые акты. Попытки коммуникативного преодоления социокультурных барьеров, возведенных внутренней колонизацией, всегда так или иначе связаны с актами убеждения и привлечения слушателей к определенным идеям, или — в случае более активного воздействия — с побуждением, призывом к действиям, подстегиванием к осуществлению социальных изменений — например, деколонизации. Поэтому фокус должен быть направлен не на иллокутивные [Остин 1986: 89], а на перлокутивные акты. Здесь мы говорим не о конвенциональных ситуациях, в которых осуществляются перформативные речевые акты (бракосочетание и т. п.), а о похожем случае, о котором Остин пишет, что он представляет собой «„неудачи“ еще одного типа — а они могут носить это название с полным правом — несовершенства понимания» [Остин 1986: 38].

Одна из «неудач», которые нас интересуют, — это случай, когда перлокутивный речевой акт убеждения или подстрекательства к действиям не доходит до адресата, аналогично тому, что Остин пишет по поводу иллокутивного акта обещания:

<sup>21</sup>Ср. однако, анализ стихотворения Тимура Кибирова в статье Э. Рутген в сборнике: Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. статей / Под ред. А. Эткина, Д. Уффельмана, И. Кукулина. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

<sup>22</sup>Точнее, «внутренний вариант позитивного ориентализма» [Эткин 2003: 123].

В обычном случае, чтобы дать обещание, необходимо:

(А) чтобы меня кто-нибудь *услышал*, возможно, то лицо, которому я обещаю;

(В) чтобы это лицо понимало, что дается обещание [Остин 1986: 38; курсив оригинала].

Главной проверкой перлокутивного высказывания является его воздействие на адресата: «„последствия...“, которые частично могут быть „ненамеренными“» [Остин 1986: 91].

Негативный эффект от ненаступления желаемого воздействия в случае перлокутивных речевых актов более значителен, чем в случае стандартных иллокутивных актов:

...когда говорящий намеревается получить некий результат, этого тем не менее может и не произойти; <...>. Чтобы справиться со сложностью..., мы <...> обращаемся к различию между попыткой и достижением... [Остин 1986: 90-91].

Кроме ненаступления желаемого воздействия могут возникнуть побочные или даже противоположные эффекты, которые Остин называет «практическими следствиями»: «Мы должны различать действия с перлокутивной задачей (убеждать, уговаривать) от действий, которые просто вызывают некое перлокутивное практическое следствие» [Остин 1986: 97]. Так, предостережение может побудить к нарушению табу, попытка убедить может повлечь за собой сопротивление, или — если говорить об уровне физических действий — милостыня может быть воспринята как оскорбление, а эмоциональный порыв в форме поцелуя может быть понят как домогательство. Именно такие — непредвиденные, противоположные — следствия имели попытки внутренней деколонизации в России.

Поэтому, анализируя перформативные неудачи в контексте внутренней колонизации, недостаточно рассматривать колонизационный или деколонизационный дискурс только для того, чтобы проверить, есть ли в нем элементы позитивного ориентализма. Вывод о безуспешности перлокутивных речевых актов можно сделать только на основе анализа *последовавших за ними* коммуникативных актов. Однако их зачастую оказывается сложно проследить *post factum*. Например, приписываемый Николаю Чернышевскому памфлет-прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» в своем качестве перформативного речевого акта потерпел неудачу уже потому, что попросту не достиг своих адресатов.

Куда большим объемом свидетельств и материалов может порадовать исследователей история восприятия народничества в среде его «подопечных». На ее примере можно в деталях продемонстрировать, как крестьяне, к которым обращались движимые высокими идеалами студенты, восприняли деколонизационный посыл как очередную попытку колонизации.

Изучение народничества как феномена внутренней колонизации, вероятно, потребует больших усилий по разбору историографических завалов (реакция «субалтернов» на «хождение в народ» анализировалась в работах советских историков с совершенно других точек зрения — например, как показатель «классовой отсталости» тогдашних российских крестьян). Однако вознаграждением за эту работу могли бы стать новые познания в области истории внутренней колонизации России.

К счастью, для литературоведческого анализа существуют жанры, которые, в отличие от революционных манифестов в духе послания «Барским крестьянам...», демонстрируют реакцию крестьян на «деколонизационную» риторику, или, в терминологии Остина, включают в себя последующие коммуникативные акты. Таковы пьесы или другие тексты, которые построены по диалогическому принципу: в них обыгрывается общение между представителями привилегированной группы и «субалтернами». Во второй половине XIX века таких текстов было написано много. Но все-таки один из первых в истории русской литературы текстов, в котором в беседах между представителями разных сословий обнаруживаются послед-

ствия колонизации, появился гораздо раньше — это «Путешествие из Петербурга в Москву», созданное Александром Радищевым в 80-е годы XVIII века и опубликованное в 1790-м.

## V

Исследователи «Путешествия...» Радищева уделили много внимания некоторым включенным в него фрагментам, как, например, оде «Вольность», и проанализировали мозаичный характер текста<sup>23</sup>, однако включенные в книгу диалоги рассматривались сравнительно мало<sup>24</sup>. Мы считаем, что при нашей постановке вопроса о неудачах перформативных речевых актов, связанных с последствиями колонизации, именно эти фрагменты «Путешествия...» должны стать предметом подробного анализа. Однако прежде чем приступить к такому анализу, следует обратить внимание на то, какова эксплицитно высказанная в тексте позиция по отношению к колониальным процессам, и выяснить, исходит ли его автор из факта существования в России внутренней колонизации<sup>25</sup>.

В «Путешествии...» мы не встретим терминологии, связанной с колонизацией. Тем не менее колониальные феномены подчинения, порабощения, эксплуатации и культурной деградации описываются в книге Радищева с ясностью, не оставляющей желать большего. На станции Новгород повествователь вспоминает о подчинении города московским князем Иваном Васильевичем, то есть царем Иваном Грозным [«хищной сосед»; Радищев 1992: 33]. Во включенной в текст (псевдо)цитате из новгородской летописи это подчинение с его внутренними последствиями для культуры тематизируется как факт колонизации; фиктивная летопись с лаконичным сарказмом изображает древнюю новгородскую культуру как полностью уничтоженную:

В Новгороде был колокол, по звону которого народ собирался на вече для рассуждения о делах общественных.

Царь Иван письмо и колокол у Новгородцев отнял. —

— Потом в 1500 году — в 1600 году — в 1700 году — году — году Новгород стоял на прежнем месте [Радищев 1992: 33<sup>26</sup>].

Однако в исторической перспективе субъект и объект колонизации, видимо, вполне могут меняться ролями. Согласно трактовке заглавия текста Радищева, которую предлагает Владимир Кантор, Москва в Российской империи со столицей в Петербурге оказывается в ситуации, похожей на положение Новгорода в Московской Руси; путешествие из Петербурга в Москву являет собой не центростремительное, а центробежное движение [Кантор 2008: 121, 161]. Он считает, что Петербург подвергается у Радищева ориентализации в рисуемой им картине азиатского деспотизма [Там же: 145], в то время как Москву рассказчик представляет как противовес новой столице.

Мотив азиатского деспотизма ярко представлен в другом фрагменте «Путешествия...» — политическом манифесте «Хотилово. Проект в будущем», посвященном

<sup>23</sup>Об истории рецепции «Путешествия...» и, в частности, о противопоставлении революционного и реформистского толкований ср.: Uffelmann 1999: 5-6.

<sup>24</sup>Кан (Kahn 1997) предлагает диалогическую антропологию текста Радищева [в похожем ключе Радищева толкует также Левитт: Левитт 2003]. Убедительные подтверждения ей Кан находит на уровне нарративного монтажа, при этом оставляя практически без внимания конкретные примеры диалогов между представителями разных сословий в «Путешествии...».

<sup>25</sup>Александр Эткин в 2002 году высказал предположение, что изучение произведений Радищева могло бы оказаться продуктивным с точки зрения вопроса внутренней колонизации [Эткин 2002: 283], однако основной акцент он делает на текстах, написанных уже в Сибири [Эткин 2002: 284].

<sup>26</sup>Об источниках этой «летописи» см. в комментариях В.А. Западова: Радищев 1992: 653.

теме подлежащего искоренению крепостного права (напомню, что проект этот приписан одному из персонажей, «искреннему другу» рассказчика):

Идите, возлюбленные мои, идите в жилища братии вашей, возвестите о премене их жребия. <...> Оставили мы гордое различие, нас толико времени (временно. — Д.У.) от вас отделявшее, забыли мы существовавшее между нами неравенство, восторжествуем ныне о победе нашей, и сей день, в он же сокрушаются оковы сограждан нам любезных, да будет знаменитый в летописях наших [Радищев 1992: 72-73].

Чтобы поставить к позорному столбу российское проявление всеобщего зла — притеснения слабых и культурно чуждых, Радищев обращается к двум другим примерам рабства, которые, будучи включенными в «Проект», призваны, видимо, играть роль аналогий: к порабощению африканцев в Америке и к деспотиям египетских фараонов и Александра Македонского. Российские «сыны славы» оказались, как он считает, под непосредственным влиянием азиатских образцов:

...Зверской обычай порабощать себе подобного человека, возродившийся в знойных полосах Ассии <...> простерся на лице земли быстротечно, широко и далеко. И мы, сыны славы <...> восприняли обычай сей; и ко стыду нашему <...> сохранили его нерушимо даже до сего дня [Там же: 66-67].

У американского примера есть своя предыстория, о которой рассказчик тоже упоминает: прибытие европейских колонизаторов в Америку, где они сначала уничтожили коренных индейцев, чтобы затем перейти от экспансивной колонизации к долгосрочной эксплуатации других групп — к торговле рабами:

Европейцы, опустошив Америку, утучнив нивы ее кровию природных ее жителей, положили конец убийствам своим новою корыстию. <...> Заклав индейцев единовременно, злобствующие европейцы, проповедники миролюбия во имя Бога истины, учителя кротости и человеколюбия, к корени яростного убийства завоевателей прививают хладнокровное убийство порабощения приобретением невольников куплею. Сии-то несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенегала... [Там же: 69-70]<sup>27</sup>.

Благовидный предлог цивилизаторской миссии в обоих случаях обличается как цинизм по отношению к ее жертвам.

Насколько прямой или косвенной оказывается взаимосвязь, устанавливаемая между азиатским и американским примерами, с одной стороны, и внутренней ситуацией в России, с другой? В исторической перспективе Радищев изображает определенные города в качестве жертв гегемонического засилья других. Однако более важным, чем исторический экскурс о Новгороде или имплицитное выдвигание Москвы в качестве противовеса Петербургу как центру империи, представляется нам сословный аспект. Кантор усматривает сходство между взятым извне азиатским примером и властью российского дворянства над крестьянами: «...самое страшное, что увидел и показал Радищев: это „блестящее гордое дворянство“ ведет себя как дикие „азиатские“ владыки» [Кантор 2008: 145]. Дополняемый аналогией между российскими крестьянами и американскими чернокожими рабами [ср.: Там же: 152], взятый из внешнего контекста мотив колониальной власти предстает перед нами как метафора внутренней, межсословной ситуации внутренней колонизации<sup>28</sup>. Кантор полагает, что Радищев был

<sup>27</sup>Радищев 1992: 69-70. О значении американского рабовладения и не вошедших в опубликованный текст «Путешествия...» частях об Америке ср.: Thaler 1958: 23.

<sup>28</sup>Похожие мысли можно найти в сочинениях членов общества «Арзамас» [Майофис 2008: 296-299], а потом и у народников [например, у Голоушева в 1874 году; см.: Итенберг 1964: 164]. Вопрос о том, в каких еще случа-

настроен — пользуясь более поздней терминологией — националистически и воспринимал дворянство в России прежде всего как чужеродный элемент [Там же: 156], но на наш взгляд, этот тезис избыточен: двух признаков (экономической эксплуатации и культурного отчуждения) вполне достаточно для того, чтобы говорить о колониальном неравенстве; необходимости присутствия *этнического* различия для этого нет [Эткинд 2001: 60].

Каким же образом дают о себе знать экономическая эксплуатация и культурное отчуждение в межсословном общении русского с русскими?

Наиболее интересными для анализа представляются нам случаи общения на максимальной социокультурной дистанции, которые можно найти в главах «Любани», «Городня», «Клин» или «Едрово».

В главе «Любани» рассказчик завязывает разговор с крестьянином, который в воскресенье работает в поле (то есть вынужденно нарушает церковную заповедь); в его труде рассказчик видит воплощение эксплуатации семей крепостных. То, что крестьянину кажется вполне обычным, потрясает рассказчика, который находит выход для обуревающих его эмоций в обращенной к крестьянину проповеди о гуманности законов: «— Друг мой, ты ошибаешься, мучить людей законы запрещают». Крестьянин отмахивается от этого совета и сохраняет дистанцию: «— Мучить? Правда; но небось, барин, не захочешь в мою кожу» [Радищев 1992: 11]. После чего собеседник рассказчика прекращает разговор, чтобы продолжить работу. Перлокутивный акт убеждения — совет обратиться к защите закона — не достигает адресата.

Нечто похожее происходит в главе «Городня», где рассказчик наблюдает попытку покупки крестьянина и также предлагает правовое просвещение, предваряя его все теми же словами: «Мой друг, ты ошибаешься, казенные крестьяне покупать не могут своей братии» [Там же: 106]. Здесь попытка городского всезнайки преподать простым деревенским крестьянам урок законности оказывается неудачной вдвойне: уполномоченные крестьянской общиной «отдатчики рекрутские» не только указывают ему на то, что он вмешивается не в свое дело, но и недвусмысленно предлагают идти своей дорогой [Там же: 107]. Кроме того, путешественника, одержимого просветительским пылом, отрезвляет пример встреченного в той же деревне еще одного будущего солдата — француза-парикмахера, который, лишившись барина-работодателя и не умея писать, не мог устроиться гувернером. Поэтому ему пришлось записаться в крестьянское сословие и напроситься в рекруты. После этого рассказчику не остается ничего другого, как пожать плечами на эту странную историю и продолжить путь, — французу, который стал рекрутом добровольно, советовать что-либо было бессмысленно [Там же: 108].

В то время как неудачи перлокутивных актов — юридических советов — в главах «Любани» и «Городня» представляют собой короткие эпизоды, после которых разговор прекращается, глава «Едрово» содержит продолжительный диалог между партнерами, которых разделяет сразу несколько социокультурных барьеров: здесь дворянин говорит с представительницей крестьянского сословия, которая к тому же значительно младше него; мужчина, имеющий опыт поездок за границу и даже учившийся там, говорит с девушкой, не видевшей на своем веку ничего, кроме домашней работы и жизни в родной деревне. Особенно важен здесь гендерный аспект внутренней колонизации: в российском дворянском обществе XVIII века носителями внутренней колонизации были в большинстве случаев мужчины. После того как женщины-дворянки получили разрешение владеть крепостными крестьянами [Marrese 2002], эта ситуация постепенно стала меняться, а когда Карамзин сделал ставку на женскую читательскую аудиторию [Карамзин 1982: 102], часть дворянок постепенно сама стала активным действующим лицом салонной культуры. Однако тот разрыв, который был порожден внутренней колонизацией, еще долгое время продолжает просматриваться особенно отчетливо

---

ях при обращении к крестьянам дворяне, апеллируя к идеям «внутренней деколонизации», использовали аналогии с внешней колонизацией или внутренней колонизацией в других странах, видимо, подлежит дальнейшему изучению.

именно в межсословном сопоставлении дворян мужского пола с крестьянками. Рассказчик у Радищева описывает ситуацию превосходства следующим образом:

Они [деревенские девки] в глазах дворян старых и малых суть твари, созданные на их угождение. Так они и поступают, а особливо с несчастными, подвластными их велениям [Радищев 1992: 61].

Когда рассказчик обращает внимание на крестьянских девушек, стирающих белье, сначала он мысленно сравнивает их с живущими в городе молодыми дворянками и произносит мысленную укоризненную речь, обращенную по очереди к нескольким таким женщинам, говоря о предосудительных сторонах жизни высшего сословия [Радищев 1992: 60], к которым он относит в равной степени лицемерие и употребление косметики. Рассказчик обрывает свой монолог, так как, видимо, считает что возразить на его слова невозможно:

...Но я еще с городскими боярынками. — Вот что привычка делает; отвязаться от них не хочется. И, право, с вами бы не расстался, если бы мог довести вас до того, чтобы вы лица своего и искренности не румянили. Теперь прощайте [Там же: 61].

Затем следует реальный, но лишь отчасти удавшийся диалог с крестьянской девушкой, которая реагирует на обращение путешественника, как Гретхен на домогательства Фауста, — оборонительно:

— Не трудно ли тебе нести такую тяжелую ношу, любезная моя, как назвать не знаю. — Меня зовут Анною, а ноша моя не тяжела. Хотя бы и тяжела была, я бы тебя, барин, не попросила мне пособить. — К чему такая суровость, Аннушка, душа моя, я тебе худова не желаю. — Спасибо, спасибо: часто мы видим таких шелкунов, как ты; пожалуй, проходи своею дорогою [Там же: 61].

Рассказчик, используя все свое красноречие, пытается рассеять подозрение девушки в том, что за его словами скрываются стереотипные корыстные мотивы:

— Анютушка, я, право, не таков, как я тебе кажуся, и не таков, как те, о которых ты говоришь. Те, думаю, так не начинают разговора с деревенскими девками, а всегда поцелуем... [Там же: 61].

Лишь несколькими фразами позже он опровергает свои собственные слова, награждая милостивую крестьянку поцелуем. — хотя и не эротическим, как можно было бы подумать: его причина — умиление от слов Анюты, нежно рассказывающей о недавно родившемся сыне своей подруги и желающей «самой иметь такова же паренька» [Там же: 62]. Но Анюта оказывается не в состоянии понять импульса, который побудил путешественника поцеловать ее

...он [читатель] наверняка может понять ее недоумение по поводу этих нежных чувств, с определенной неуклюжестью позаимствованных у стерновского Йорика, которые вряд ли могли быть доступны русской крестьянке [Brown 1980: 557].

Различная интерпретация поцелуя — как знака признания и сентиментального восхищения, с одной стороны, и как сексуального домогательства, с другой, — демонстрирует амбивалентность межсословной коммуникации: то, что со стороны дворянина подразумевалось как акт признания, воспринимается крестьянкой как действие совершенно иного рода, а

именно как носящее сексуальный характер. Комизм, заложенный в этом недоразумении, благоприятно сказывается на тексте<sup>29</sup>.

С точки зрения просветительской поэтики воздействия, принятой на вооружение рассказчиком, этот комизм, однако, проблематичен. То обстоятельство, что его речевые акты несут в себе аспект действий, упоминалось исследователями не более чем вскользь<sup>30</sup>, хотя заключенная в книге Радищева социальная интенция уже в 1790 году бросилась в глаза одной из самых первых читательниц «Путешествия...» — императрице Екатерине II. В пометках, оставленных ею на полях книги, часто встречаются следующие и подобные характеристики: «Намерение сей книги <...> приведение народа в негодование противу начальников и начальству <...> написаны в возмутительном намерении» [Бабкин 1952: 157]. Императрица не допускает ни малейшего сомнения в том, что перед ней — многократно повторяемый речевой акт подстрекательства.

Словно бы предвосхищая появление теории речевых актов, Григорий Гуковский рассматривает перлокутивную составляющую поэтики убеждения у Радищева. Ее он сначала относит на счет просветительского оптимизма писателя:

В этой изумительной по смелости и по наивности вере в силу убеждения непредвзятого человеческого слова <...> заключалось «безумие», «сумасшествие», которым Пушкин неудачно пытался объяснить решимость Радищева издать «Путешествие» [Гуковский 1936: 164].

Основу такой решимости Гуковский видит в вере Радищева в убеждающую силу литературного текста, в возможность «прямого воздействия на слушателя-читателя» [Гуковский 1936: 190]. Говоря с точки зрения теории языка, «слово стало в руках Радищева действием...» [Гуковский 1936: 183]<sup>31</sup>.

Перлокутивные речевые акты убеждения и подстрекательства, встречающиеся нам у Радищева, несут подспудный агрессивный потенциал, представляют собой форму вмешательства, то есть — говоря в терминах нашего подхода — имеют колониционный характер. Проблематика деколонизационного дискурса, направленного против социальных последствий внутренней колонизации, заключается в двойной природе этой колонизации: экономическая эксплуатация сочетается в ней с риторикой цивилизаторской миссии. Даже если деколонизационный дискурс обращается против колониальной эксплуатации, он не в состоянии уйти от риторической фигуры освободительной миссии. Любая критика эксплуатации (у Радищева она направлена против крепостного права как специфической формы проявления внутренней колонизации) неизбежно приводит в действие парадокс, присущий всякой помощи в развитии: заносчивое всезнайство помогающего препятствует самостоятельному развитию нуждающегося в помощи. Выступая с деколонизаторскими намерениями, помогающий в своем альтруизме сам вновь превращается в невольного колонизатора.

В «Путешествии...» Радищева характер подобной деколонизаторско-колонизаторской миссии выявляется в тот момент, когда рассказчик-дворянин вторгается в приватную сферу встреченной им Анюты. Никак не прислушиваясь к ее протестам, он без приглашения вваливается в крестьянскую избу:

<sup>29</sup>Комизм неудачной попытки преодоления сословной границы девальвирует, как считает Пушкин, сентиментальные порывы [Пушкин 1949: 36], но не касается положительного изображения народа, которое у Радищева в соответствии с его сентименталистской эстетикой имеет пасторальный оттенок [Алексеев 1977: 101].

<sup>30</sup>Как, например, у Пономарева, который пишет о «Путешествии...» как о «призыве к совести и состраданию» [«appeal to conscience and compassion»: Ponomareff 1987: 48].

<sup>31</sup>Гуковский полагал, что это превращение умалило эстетическую сторону текста [«Радищев заботится не об изяществе языка, а о силе...»: Гуковский 1936: 191], но эту оценку мы оставляем за скобками.

— Нет, моя Анюта, я пойду с тобою... — и, не дожидаясь ее ответа, вошел в ворота и прямо пошел на лестницу в избу. Анюта мне кричала вслед: — Постой, барин, постой. — Но я ей не внимал [Радищев 1992: 63].

На уровне действия это нарушение неприкосновенности чужого жилища образует параллель к некоторым дискурсивным практикам, которые использует рассказчик, постоянно удерживая интеллектуальную дистанцию, отделяющую его от собеседников-крестьян. Путешественник смотрит на деревенских жительниц через оптику, задаваемую псевдоантичной эстетикой классицизма и рококо («моющие платье деревенские нимфы» [Там же: 61]), и применяет к увиденному дедуктивный метод.

Действующие в Российской империи законы он критикует с точки зрения естественного права, задающей для него масштаб рассмотрения: «Сие запрещают правила естественности <...>; сие запрещать долженствовал бы закон гражданский...» [Там же: 65]. Эта критика правовой практики, подкрепленная рассуждениями о теоретических основах заключения договоров [Там же: 64], нацелена на неравные браки. Просветитель критикует широко распространенную практику выдавать девушек замуж за совсем юных, иногда 10-летних мальчиков [Там же: 65]. Попытки крестьян самостоятельно защитить себя от дворянского произвола также подвергаются критике как самосуд, ведущий скорее к обратному результату. Действия крестьян, которые по примеру Пугачева отомстили деспоту-помещику за безмерное злоупотребление правом первой ночи, он считает неверными: им следовало бы обратиться к официальному правосудию [Там же: 61-62]. Реформаторско-антиреволюционный тон звучит здесь с явным оттенком колонизаторского всезнайства<sup>32</sup>.

Такой тон вполне соответствует «автоэтнографической» установке, которой следует путешественник по родным краям. Несмотря на неподдельный интерес к образу жизни, отличающемуся от его собственного (путешественник говорит Анюте, что хочет узнать, как она живет [Там же: 61]), в книге постоянно подчеркивается дистанция между наблюдателем и наблюдаемыми.

Распространенный в западноевропейской литературе XVIII века образ «благородного дикаря» в России превращается в образ «доброего крестьянина». Первым женским воплощением этого образа Кантор считает радищевскую Анюту [Кантор 2008: 150]<sup>33</sup>. Еще до разговора с ней путешественник размышляет, довольно абстрактно противопоставляя здоровую деревенскую жизнь с ее традиционным укладом цивилизации с ее болезнями [Радищев 1992: 60]. Больные зубы горожанок и здоровые зубы крестьянок для рассказчика — наглядное выражение контраста между городом и деревней. На уровне морали физическое здоровье находит параллель в абсолютном превосходстве крестьянки, которую путешественник провозглашает выразительницей нравственных норм. Пономарев описывает такое отношение к крестьянкам как «идеализацию морально здоровой жизни на лоне природы в духе Руссо». Видя воплощение этого идеала, «„сентиментальный путешественник“» впадает в экстаз [Ponomareff 1987: 46]. В радищевском эпизоде мы можем заметить тенденцию к инверсии известной к тому времени гендерной схемы: не женщина должна учиться у мужчины благопристойности, а наоборот, «...сердце его уступит твоему впечатлению и отвернется на восприятие твоего благотворного примера» [Радищев 1992: 64]. Достойный пример для подражания в лице Анюты путешествующий дворянин находит не только для мужской части деревенского населения; сам он тоже признается, что мог бы поучиться у крестьянки, если бы встретился с

<sup>32</sup>Напрашивающийся вывод о том, что реформизм связан с колониалистской установкой, а революционные идеи автоматически несут в себе деколонизаторский подход, далеко не всегда соответствует действительному положению вещей.

<sup>33</sup>Следует добавить, что своим именем радищевская Анюта отсылает к одноименному прообразу доброй крестьянки из комической оперы Я.Б. Княжнина «Несчастье от кареты» (1774), остающейся, однако, в тени своего сюжетного партнера, крестьянина Лукьяна. На эту интертекстуальную связь указал нам в беседе Йоахим Клейн.

ней раньше: «...научила бы меня ходить в стезях целомудрия» [Там же: 64]. Здесь Радищев уже прямо предвосхищает идею Льва Толстого о том, что высшие сословия должны учиться у крестьян нравственности<sup>34</sup>.

Таким образом, мы встречаем у Радищева симптомы, которые Александр Эткинд определяет как признаки установки на автодеколониацию, которая включает в себя романтическое возвышение народа:

В ожидании деколонизации, социальной эмансипации, политической революции приходит осознание привилегий «народа», его моральной и метафизической ценности, его чистоты, безгрешности и несправедливой угнетенности [Эткинд 1998: 59-60].

При таком толковании восторженные отзывы о моральной непогрешимости Анюты могут быть рассмотрены как дворянская самокритика. Можем ли мы тогда согласиться с Г.П. Макогоненко, который определяет итог «Путешествия...» как успешное «моральное обновление путешественника» [Макогоненко 1956: 482]? Выливается ли попытка преодоления последствий внутренней колонизации в успешный автоцивилизаторский акт — или в акт автодеколониации рассказчика? С определенностью можно утверждать, что предосудительно-му прошлому рассказчика (который наслаждался преимуществами колонизатора) текст противопоставляет его настоящее. Преобладающим приемом такого противопоставления отрезков на временной оси является «самокритика» [Klein 2008: 287] «грешника» [Кантор 2008: 137]. Без обиняков рассказчик признается в том, что раньше он тоже с вождением смотрел на деревенских женщин: «Страсть, господствовавшая во всю жизнь надо мною, но уже угасшая, по обыкшему ее стремлению направила стопы мои к толпе сельских сих красавиц» [Радищев 1992: 59]. Несмотря на отмежевание от прошлого, оно продолжает влиять на настоящее — на поведение рассказчика или на восприятие его поведения другими [ср.: Stadtke 1969: 76]. Его новая тяга к женщинам, которую он теперь обосновывает не сексуальным влечением, а сентиментальной склонностью и эмоциональным сродством [«Я люблю женщин для того, что они соответственное имеют сложение моей нежности...»]: Радищев 1992: 61], остается непонятной для деревенской девушки.

Столичный щеголь, пусть даже бывший, возмущенно морщит нос из-за отсутствия в деревне кофе [ср.: Кантор 2008: 141], а по отношению к модникам из низших слоев демонстрирует «сословную спесь» [Fieguth 1990: 160], которая делает его кажущееся перерождение скорее «карикатурой на самого себя» [Там же: 174], чем примером успешного самовоспитания.

Сословная граница оказывается непреодолимой. Парадокс, отмеченный советскими исследователями литературы, много писавшими о «дворянских революционерах» [Жарякин, Плимак 1955: 188], остается в силе со всей своей амбивалентностью. В результате мы видим не отдельные успешные акты коммуникации, как считает Макогоненко [как, например, в «Городне»: Макогоненко 1956: 462], а постоянное напоминание о социальном барьере, который становится еще и культурным [«абсолютная чуждость крестьян дворянину»: Кантор 2008: 149]. Несмотря на все усилия, присутствие путешественника-дворянина смущает крестьян: «Приметив, что им мое присутствие было не очень приятно, я их оставил и возвратился к моей кибитке» [Радищев 1992: 63]. Здесь поэтика соприкосновения с народом деконструируется так же, как восемьдесят лет спустя будет на практике подвергнут деконструкции пафос «хождения в народ».

Дворянину не удастся убедить своих слушателей-крестьян в благом — деколониаторском — характере своих намерений. Итогом общения с народом оказываются прежде

<sup>34</sup>Но даже в своем восторге перед нравственной чистотой деревенской девушки Анюта рассказчик у Радищева сохраняет за собой положение превосходства. Он предсказывает ей счастье [«Ты будешь блаженна...»]: Радищев 1992: 62], тем самым претендуя на высшую позицию, которая дает возможность выносить оценки.

всего собственные размышления рассказчика, для которых реплики «субалтернов» становятся условными поводами: «Вот, Анюта, благие мысли, тобою мне внушенные» [Там же: 65]. Социальнофилософские выкладки, на которые его якобы вдохновляет Анюта, оказывается невозможным донести до крестьян. Перлокутивный речевой акт убеждения заканчивается неудачей. Просветительская теория не подлежит переносу на уровень практики; констатация проблемы не ведет к нахождению решения [Uffelmann 1999: 7-9]. На наших глазах происходит автодеконструкция деколонизационного дискурса и обнажение его неизменно колониационной сущности.

Язык и жанровые особенности текста Радищева многократно демонстрируют и обыгрывают несовместимость теоретических целей с нарушенным общением между сословиями. За попыткой завязать диалог, описанной в главе «Едрово», следует абстрактный «Проект в будущем», образующий намеренно резкий контраст с языком и структурой предыдущей главы [см.: Uffelmann 1999: 10]. М.П. Алексеев считает, что особенность языка Радищева состоит в том, что он формулирует, «сталкивая <...> разногенетические слова» [Алексеев 1977: 109]. Грассхофф констатирует, что у Радищева более или менее комплементарно соединены два контрастных языковых уровня: разговорный язык в описаниях путешествия и «глубоко научный или деловой стиль» [Grasshoff 1969: 70] с тенденцией к ораторским интонациям в теоретических размышлениях [Кочеткова 1977: 23]<sup>35</sup>.

Эффект остранения дополнительно усиливается тем, что текст передает даже не собственные мысли путешественника, а представляет его как реципиента чужих текстов, написанных явно не на российской почве. Сам коллажный принцип организации текста «Путешествия...» свидетельствует о разрыве между теоретическим (деколонизационным) дискурсом и социальной практикой: описания попыток рассказчика вступить в диалог с крестьянами составляют резкий стилистический контраст с «теоретическими» социальными декларациями, включенными в книгу.

Каковы же возможные пути преодоления этого разрыва? Традиционный советский вариант прочтения пытался разрубить завязанный Радищевым гордиев узел универсальным мечом революции. Однако, как мы убедились выше, «Путешествие...», в котором отрицается антиколониальное насилие в виде самосуда, трудно свести к однозначному революционному призыву. Возвращение к более совершенному доколониальному состоянию (к средневековому Новгороду) также представляется невозможным: «Как ни тужи, а Новгорода по-прежнему не населишь...» [Радищев 1992: 33; ср.: Uffelmann 1999: 13]. Домосковскую «новгородитюд» невозможно восстановить, как невозможно восстановить доколониальную *негритюд* в Африке.

Д.Д. Благого, который считает, что все дворянские добрые намерения в «Путешествии...» влекут за собой дурные последствия [Благой 1948: 11], можно упрекнуть в сгущении красок. Однако верно, что перлокутивные речевые акты путешественника, высказанные из хороших побуждений, не порождают никаких положительных действий. Гордые крестьяне не желают принимать подарков [Радищев 1992: 62] и чувствуют себя оскорбленными [ср.: Макогоненко 1956: 462]. Как семья Анюты отказывается принять подарок в счет ее приданого [Радищев 1992: 63], так и слепой старик в главе «Клин» отвергает милостыню [Там же: 111; о невозможном даре ср.: Uffelmann 1999: 19] и считает ее обидной для себя, что в свою очередь оскорбляет подающего. В результате обиженными оказываются оба. «Ты огорчаешь давно уже огорченное сердце естественною казнию» [Радищев 1992: 112], — говорит слепой дворянину. Шейный платок, принятый в подарок вместо денежного подаяния, помогает обоим участникам выйти из тупиковой ситуации, однако носить этот платок старику суждено всего три дня — потом он умирает. Исход истории — скорее сентиментальный, чем свидетельствующий об успешном наведении мостов между социальными стратами.

<sup>35</sup>При более подробном анализе за этим схематичным дуализмом просматривается значительно более пестрый «плюрализм стилей» [Fieguth 1990: 172].

Здесь Макогоненко также признает влияние прошлого: «Опять прошлое встало на пути к народу, опять не смог он свершить поступок, равный искреннему намерению» [Макогоненко 1956: 465]. Постколониальная ситуация выглядит непреодолимой. Последствия десятилетий, столетий внутренней колонизации невозможно — как демонстрирует текст Радищева — устранить благими намерениями, убеждением и отдельными актами помощи.

Поэтому Радищев на допросе отрицал, что его книга содержит подстрекательские обращения к крестьянам:

...Если кто скажет, что я, писав сию книгу, хотел сделать возмущение, тому скажу, что ошибается, первое и потому, что народ наш книг не читает, что написана она слогом, для простаго народа не внятным, что и напечатано ее очень мало... [Бабкин 1952: 171].

Однако использование в диалогах условного языка крестьян, который позднее попытается включить в свой текст также и автор прокламации «Барским крестьянам...», свидетельствует о том, что «Путешествие...» изначально писалось не только для дворян [Семенников 1923: 79-80] или господствующей верхушки [Кантор 2008: 131]. В некоторых фрагментах текста прослеживается намерение подействовать в том числе и на потенциальных читателей в крестьянской среде. Его осуществлению препятствует вторая интенция: просветительский социофилософский дискурс. Так сталкиваются и мешают друг другу деколонизация на уровне языка и перформативное воспроизведение гегемониального дискурса<sup>36</sup>.

## VI

Этот коммуникативный парадокс не устранили впоследствии ни отмена крепостного права, ни крушение империи в результате октябрьского путча 1917 года; революции, громко заявляющие о себе как об актах «деколонизации „народа“», завершаются «новой, беспрецедентной по масштабу попыткой имперского завоевания собственного народа» [Эткинд 1998: 60]. Неудачи, аналогичные тем, что постигли радищевского рассказчика, возникали и в более поздних попытках диалога, направленных на преодоление дистанции между привилегированными группами и «субалтернами». Примеры им можно найти в истории народничества, коллективизации сельского хозяйства или в фильмах постсоветской эпохи [Липовецкий 2008: 708-719, 749-755]. Поняв обусловленные постколониальным наследием неудачи, мы должны признать, что у нас нет ответов на вопросы об исторических рамках внутренней колонизации — о ее начале и, что с практической точки зрения гораздо важнее, о ее завершении.

---

Алексеев А.А. 1977. Старое и новое в языке Радищева. — *XVIII век. Сб. 12. А.Н. Радищев и литература его времени.* — Л.: Наука. — С. 99-112.

Бабкин Д.С. 1952. *Процесс А.Н. Радищева.* — М.-Л.: Изд. Академии Наук СССР.

Благой Д.Д. 1948. *А.Н. Радищев. Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Колонном зале Дома союзов в Москве.* — М.: Правда.

Гройс Б.Е. 1993. *Утопия и обмен.* — М.: Знак.

Гуковский Г.А. 1936. Радищев как писатель. — *А.Н. Радищев. Материалы и исследования.* — М.-Л.: Изд. Академии Наук СССР. — С. 141-192.

---

<sup>36</sup>Трудно судить, следует ли рассматривать самоубийство Радищева как симптом этой безысходности или как мужественный логический вывод [как предполагал Лотман; Лотман 1992: I: 265; Paperno 1997: 15-16; Klein 2008: 280-282]. Анализ исследовательских дискуссий вокруг самоубийства Радищева можно найти у Кантора [Кантор 2008: 118-120].

Итенберг Б.С. (ред.). 1964. *Революционное народничество 70-х годов XIX века: Сб. документов и материалов: В 2 т.* / Под ред. С.С. Волка и др. Т. 1. 1870—1875 гг. / Предисл. и ред. Б.С. Итенберга, сост. В.Ф. Захарина. — М.: Наука.

Кантор В.К. 2008. *Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К проблеме имперского сознания в России.* — М.: РОССПЭН.

Карамзин Н.М. 1982. *Избранные статьи и письма.* — М.: Современник.

Карякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. 1955. О двух оценках «Путешествия из Петербурга в Москву» в советской литературе. — *Вопросы философии.* — № 4. — С. 182-197.

Ключевский В.О. 1987. *Соч.: В 9 т.* — М.: Мысль.

Кобрин К. 2008. От патерналистского проекта власти к шизофрении: «ориентализм» как российская проблема (на полях Эдварда Саида). — *Неприкосновенный запас.* — № 3 (59). — Доступно: <http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/kk5-pr.html> — Проверено: 16.10.2011.

Кочеткова Н.Д. 1977. Радищев и проблема красноречия в теории XVIII века. — *XVIII век. Сб. 12. А.Н. Радищев и литература его времени.* — Л.: Наука. — С. 8-28.

Левитт М. 2003. Диалектика видения в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева. — *А.Н. Радищев: Русское и европейское просвещение. Материалы международного симпозиума 24 июля 2002 г.* — СПб.: Санкт-Петербургский научный центр РАН. — С. 36-47.

Лейбович О. (отв. ред.). 2009. «Включен в операцию». *Массовый террор в Прикамье в 1937-1938 гг.* 2-е изд., перераб. — М.: РОССПЭН; Фонд первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Ленин В.И. 1946. Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка промышленности (1899). — Ленин В.И. *Соч.: В 36 т.* Т. 3. — Л.: Гос. изд-во политической литературы.

Липовецкий М. 2003. В отсутствие медиатора. Сюжет внутренней колонизации. — *Искусство кино.* — № 8. — Доступно: <http://kinoart.ru/2003/n8-article15.html> — Проверено: 16.10.2011.

Липовецкий М. 2008. *Паралогии. Трансформации (постмодернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов.* — М.: Новое литературное обозрение.

Липовецкий М., Эткин А. 2008. Возвращение тритона. Советская катастрофа и постсоветский роман. — *Новое литературное обозрение.* — № 94. — С. 174-206.

Лотман Ю.М. 1992/1993. *Избранные статьи: В 3 т.* — Таллинн: Александра.

Майофис М.Л. 2008. *Воззвание к Европе: литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815-1818 годов.* — М.: Новое литературное обозрение.

Макогоненко Г.Л. 1956. *Радищев и его время.* — М.: Гос. изд. худож. лит-ры.

Маркс К., Энгельс Ф. 1948. Британское владычество в Индии (1853) / Пер. с англ. — Маркс К., Энгельс Ф. *Избранные произведения.* — М.: ОГИЗ. — С. 303-309.

Остин Дж.Л. 1986. Слово как действие / Пер. с англ. АА Медниковой. — *Новое в зарубежной лингвистике* / Сост. И.М. Кобозева, В.З. Демьянкова. — Вып. 17. — М.: Прогресс. — С. 22-129

Пушкин А.С. 1949. Александр Радищев (1836). — Пушкин А.С. *Полн. собр. соч.: В 17 т.* Т. 12. Критика. Автобиография. — М.: Изд. АН СССР. — С. 30-40.

Радищев А.Н. 1992. *Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность* / Издание подготовил В.А. Западов. — СПб.: Наука. (Серия «Литературные памятники»).

Ремнев А.В. 2010. Российская власть в Сибири и на Дальнем Востоке: колониализм без министерства колоний — русский «Sonderweg»? — *Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи* / Под ред. М. Ауста, Р Вульпиус, А. Миллера. — М.: Новое литературное обозрение. — С. 150-181.

Родоман Б.Б. 1996. Внутренний колониализм в современной России. — *Куда идет Россия? Социальная трансформация постсоветского пространства.* Сост. Т.И. Заславская. — Вып. 3. — М. — С. 94-102.

- Семенников В.П. 1923. *Радищев. Очерки и исследования*. — М.-Пг: Госуд. изд-во.
- Соловьев С.М. 1959-1966. *История России с древнейших времен: В 15 кн.* — М.: Изд-во социально-экономической литературы.
- Фадеичева М. 2007. Урал в системе «внутреннего колониализма». — *Свободная мысль*. — № 6. — С. 45-54.
- Эткинд А. 1998. *Хлыст. Секты, литература и революция*. — М.: Новое литературное обозрение.
- Эткинд А. 2001. Фуко и тезис внутренней колонизации. — *Новое литературное обозрение*. — № 49. — С. 50-73.
- Эткинд А. 2002. Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России. — *Ab Imperio*. — № 1. — С. 265-298.
- Эткинд А. 2003. Русская литература, XIX век: роман внутренней колонизации. — *Новое литературное обозрение*. — № 59. — С. 103-124.
- Balandier G. 1951. La situation coloniale: approche theorique. — *Cahiers internationaux de sociologie*. — Vol. 11. — P. 5-40.
- Brown W.E. 1980. *A History of Eighteenth-Century Russian Literature*. — Ann Arbor (MI): Ardis.
- Calvert P. 2001. Internal Colonisation, Development and Environment. — *Third World Quarterly*. — Vol. 22. — No. 1. — P. 51-63.
- Chernetsky V. 2007. *Mapping Postcommunist Cultures: Russia and Ukraine in the Context of Globalization*. — Montreal et al.: McGill-Queen's University Press.
- Condee N. 2009. *The Imperial Trace: Recent Russian Cinema*. — Oxford-New York: Oxford University Press.
- Etkind A. 2003a. Internal Colonization and Russian Cultural History. — *Ulbandus*. — Vol. 7. — P. 17-25.
- Etkind A. 2003b. Whirling with the Other: Russian Populism and Religious Sects. — *The Russian Review*. — Vol. 62. — No. 4. — P. 565-588.
- Etkind A. 2007. Orientalism Reversed: Russian Literature in the Times of Empires. — *Modern Intellectual History*. — Vol. 4. — No. 3. — P. 617-628.
- Etkind A. 2011. *Internal Colonization: Russia's Imperial Experience*. — Cambridge: Polity Press.
- Feichtinger J. 2003. Habsburg (post-)colonial. Anmerkungen zur inneren Kolonisierung in Zentraleuropa. — *Habsburg postcolonial. Machtstrukturen und kollektives Gedachtnis* / Hrsg. von Johannes Feichtinger, Ursula Prutsch u. Moritz Csaky. — Innsbruck et al.: StudienVerlag. — S. 13-31.
- Fieguth R. 1990. Zum Stil des Erzählberichts in A.N. Radiscevs «Reise». Versuch der ästhetischen Lektüre eines «langweiligen Buches». — *Semantic Analysis of Literary Texts* / Ed. by Eric de Haard, T. Langerak, W.G. Weststeijn. — Amsterdam: Elsevier. — P. 153-182.
- Fischer-Lichte E. 2004. *Ästhetik des Performativen*. — Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Frank S. 2003. «Innere Kolonisation» und frontier-Mythos. Räumliche Deutungskonzepte in Rußland und den USA. — *Osteuropa*. — Bd. 53. — No. 11. — S. 1658-1675.
- Gonzalez Casanova P. 2006. *Sociologia de la explotacion*. Buenos Aires: CLASCO. [1969].
- Gouldner A.W. 1977/1978. Stalinism: A Study of Internal Colonialism. — *Telos*. — Vol. 34. — P. 5-48.
- Grasshoff Helmut 1969. Radiscevs «Reise-» und ihre Stellung innerhalb der zeitgenössischen literarischen Strömungen. — *A.N. Radiscev und Deutschland Beiträge zur russischen Literatur des ausgehenden 18. Jahrhunderts*. — Berlin: Akad.-Verl. — S. 59-71.
- Habermas J. 1995. *Theorie des kommunikativen Handelns*. 2 Bde. Bd. 2. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. — Frankfurt a.M. Suhrkamp. [1981].

Haxthausen A.F. von. 1847. *Studien über die innern Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Rußlands*. Zweiter Theil. — Hannover: Hahn'sche Hofbuchhandlung.

Hechter M. 1975. *Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966*. — London: Routledge & Kegan Paul.

Hind R.J. 1984. The Internal Colonial Concept. — *Comparative Studies in Society and History*. — Vol. 26. — No. 3. — P. 543-568.

Kahn A. 1997. Self and Sensibility in Radishchev's «Puteshestvie iz Peterburga v Moskvu»: Dialogism and the Moral Spectator. — *Oxford Slavonic Papers*. — Vol. 30. — P. 40-66.

Khalid A. 2000. Russian History and the Debate over Orientalism. — *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. — Vol. 1. — No. 4. — P. 691-699.

Klaus A. 1887. *Unsere Kolonien. Studien und Materialien zur Geschichte und Statistik der ausländischen Kolonisation in Rußland*. — Odessa: Verlag der «Odessaer Zeitung».

Klein J. 2008. *Russische Literatur im 18. Jahrhundert*. — Köln et al.: Böhlau.

Kotsonis Y. 1999. *Making Peasants Backward: Agricultural Cooperatives and the Agrarian Question in Russia, 1861-1914*. — Basingstoke: Macmillan.

Kujundzic D. 2000. 'After': Russian Post-Colonial Identity. — *Modern Language Notes*. — Vol. 115. — No. 5. — P. 892-908.

Kyst J. 2003. Russia and the Problem of Internal Colonization. — *Ulbandus*. — Vol. 7. — P. 26-31.

Landow G.P. 2002. The Metaphorical Use of Colonialism and Related Terms. — Сайт «Political Discourse — Theories of Colonialism and Postcolonialism». — Доступно: <http://www.postcolonialweb.org/poldiscourse/colony2.html> — Проверено: 16.10.2011.

Maggio J. 2007. 'Can the Subaltern Be Heard': Political Theory, Translation, Representation and Gayatri Chakravorty Spivak. — *Alternatives*. — Vol. 32. — No. 4. — P. 419-443.

Marrese M.L. 2002. *A Woman's Kingdom: Noblewoman and the Control of Property in Russia, 1700-1861*. — Ithaca-London: Cornell University Press.

Nolte H.-H. 1991a. Internal Peripheries — A Definition and a Note. — *Internal Peripheries in European History* / Ed. by H.-H. Nolte. — Gottingen-Zurich: Muster-Schmidt. — P. 1-3.

Nolte H.-H. 1991b. Internal Peripheries in Europe. — *Internal Peripheries in European History* / Ed. by H.-H. Nolte. — Gottingen-Zurich: Muster-Schmidt. — P. 5-28.

Osterhammel J. 2006. *Kolonialismus. Geschichte — Formen — Folgen*. München: C.H. Beck.

Paperno I. 1997. *Suicide as a Cultural Institution in Dostoevsky's Russia*. — Ithaca (NY): Cornell University Press.

Ponomareff C. 1987. *On the Dark Side of Russian Literature, 1709-1910* (=American University Studies. Series 12. Slavic Languages and Literature. Issue 2). — New York et al.: Lang.

Rancour-Laferriere D. 1995. *The Slave Soul of Russia: Moral Masochism and the Cult of Suffering*. — New York: New York University Press.

Ruthner C. 2003. K.u.k. Kolonialismus als Befund, Befindlichkeit und Metapher: Versuch einer weiteren Klärung. — *Habsburg postcolonial. Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis* / Hrsg. von Johannes Feichtinger, Ursula Prutsch u. Moritz Csaky. — Innsbruck et al.: StudienVerlag. — S. 111-128.

Said E.W. 1978. *Orientalism*. — London: Routledge & Kegan Paul.

Simonek S. 2003. Möglichkeiten und Grenzen postkolonialistischer Literaturtheorie aus slawistischer Sicht. — *Habsburg postcolonial. Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis* / Hrsg. von Johannes Feichtinger, Ursula Prutsch u. Moritz Csaky. — Innsbruck et al.: StudienVerlag. — S. 129-139.

Spivak G.C. 1988. Can the Subaltern Speak?. — *Marxism and the Interpretation of Culture* / Ed. by Cary Nelson and Lawrence Grossberg. — Basingstoke: Macmillan. — P. 271-316.

Städtke K. 1969. Zur Erzählstruktur von AN. Radiscevs «Putesestvie iz Peterburga v Moskvu». — *A.N. Radiscev und Deutschland. Beiträge zur russischen Literatur des ausgehenden 18. Jahrhunderts*. — Berlin: Akad.-Verl. — S. 73-77.

Sunderland W. 2004. *Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe*. — Ithaca (NY); London: Cornell University Press.

Thaler R.P. 1958. Introduction. — *Aleksandr N. Radishchev: A Journey from St. Petersburg to Moscow* / Transl. by Leo Wiener. — Cambridge (MA): Harvard University Press. — P. 1-37.

Uffelman D. 1999. Radiscev lesen. Zur Strategie des Widerspruchs im „Putesestvie iz Peterburga v Moskvu“. — *Wiener Slavistischer Almanach*. — Bd. 43. — S. 5-25.

Uffelman D. 2009. Selbstorientalisierung in Narrativen polnischer Migranten. — *Zeitschrift für Slavische Philologie*. — Bd. 66. — No. 1. — S. 153-180.

Viola L. 1996. *Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance*. — New York-Oxford: Oxford University Press.

Virilio P., Armitage J. 2000. From Modernism to Hypermodernism and Beyond: An Interview with Paul Virilio. — *Paul Virilio: From Modernism to Hypermodernism and Beyond* / Ed. by John Armitage. — London et al.: Sage. — P. 27-56.

Waegemans E. 1993. *Geschiedenis van de Russische literatuur: sinds de tijd van Peter de Grote*. — Antwerpen: Dedalus.

Wippermann W. 2007. *Die Deutschen und der Osten. Feindbild und Traumland*. — Darmstadt: Primus.

Yew L. 2002. Notes on Colonialism. — *Caŭm «Political Discourse — Theories of Colonialism and Postcolonialism»*. — Доступно: <http://www.postcolonialweb.org/poldiscourse/colonia-lismnotes.html> — Проверено: 16.10.2011.

Zernack K. 1991. Der hochmittelalterliche Landesausbau als Problem der Entwicklung Ostmitteleuropas. — *Preußen — Deutschland — Polen. Aufsätze zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen*. Hrsg. v. Wolfram Fischer und Michael Müller. Berlin. — S. 171-183.